

Цена номера 5 копеек.

РЕДАКЦИЯ — Москва, Тверской бул., 25, Дом Герцена. Тел 5-30-85
Прием в секретариате редакции ежедневно от 2 до 4 ч

ИЗДАТЕЛЬСТВО — Акц. Изд. О-во „Огонек“, Москва, 6, Страстной
бульвар, № 11. Телефон 5-51-69.

МОСКОВСКАЯ КОНТОРА — Тверская, 37, (уг. М. Гнездиковского).
Телефон 1-28-19 и 1-28-20.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:

С 1 мая до конца года — 1 руб. 50 коп., на 6 мес. — 1 руб. 20 коп.,
на 3 мес. — 60 коп.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

№ 13. Понедельник, 15 июля 1929 г.

Орган Федерации Об'единений Советских Писателей.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Встречался я с Антоном Павловичем Чеховым всего два раза, но обе эти встречи дали ощущение живого Чехова и, более того, помогли понять его как писателя, хотя беседа велась совсем не о литературе. Я тогда лишь немного начинал печататься, но в этом ему не признался, а сам Чехов, как большинство настоящих писателей, думается, рад был вести разговор не «писательский», а простой—житейский. Я никак не затрагивал вопроса и о его произведениях. Я ехал тогда на голод в Бессарабию и по этому именно делу к нему и зашел.

Заговорили, конечно, и о любимой Чеховым Москве. Несмотря на январь, в Ялте было тепло, все ходили по-летнему, по камням вились маленькие пушистые розы, цвели и какие-то еще розовые цветы с плотными блестящими лепестками; все это было зимою несколько призрачно. И грусть по морозной Москве—запрещенной—была как нельзя больше понятна. В кабинете, совсем небольшом, очень простом, постепенно сгущались синие сумерки; огня не зажигали. Антон Павлович говорил не спеша, раздумчиво, больше расспрашивал—о Москве, о студенческих наших делах, немного всегда беспокойных. Кстати: когда передают речь Чехова, всегда пестрит частица «же», которую он будто бы прибавлял чуть не к каждому слову; получается впечатление сугубо-провинциального местного говора, почти комического. Правда, пишут это люди, знавшие Чехова долго и хорошо, но если и была в его речи такая особенность (я ее вовсе не ощутил), то во всяком случае передающие слова А. П. ею злоупотребляют. Он говорил, как писал, короткими фразами, подумав, несколько скупно и определенно; также скупы и выразительны были и его жесты, едва намеченные и, одновременно, вполне законченные.

Я не помню подробностей этого первого разговора, да и не в них дело, но тогда же я отчетливо почувствовал, как Чехов был пристально внимателен к другому человеку—совсем для него случайному. И это не был интерес специфически писательский, а именно человеческий. Пожалуй, в этом была и доброта, но не такая теплая и конкретная, какая присуща была В. Г. Короленко, у Чехова была она, как бы несколько далекая: не данный, сидящий перед ним человек, а он же,—конечно живой,—но как один из тех живых существ, которые именуются человеком. У Чехова, несомненно, присутствовала всегда свойственная ему органически дума о людях, о человеке: о жизни. И вот он сидел в сумерках и говорил, с паузами, покашливая, спрашивал что-нибудь, и так это воспринималось: точно хочет проверить себя, прикинуть свое «надали» на этом вблизи сидящем, приехавшем оттуда—из всегда молодой Москвы.

Чехов был человеком конкретностей и писал живых людей, может быть, как никто, но эти конкретности он давал по-особому, на широком и спокойном горизонте своего раздумья. Так иногда, на закате, увидишь стебли полыни или дикой рябинки, они такие же, как и те, что у тебя под ногами, но и не те, ибо конкретность их дана с гравюрной четкостью, и даны расстояние, простор и грань горизонта, и теплая желтизна уходящего неба. Это сочетание конкретности и дали, живого быта и длительного раздумья, оно и является основным в творческой манере Чехова.

Какого же рода было это раздумье? Несомненно, оно было очень разнообразного свойства: и философского и социального—тому имеется много свидетельств. Во вторую свою встречу с Чеховым я очень остро почувствовал именно этот социальный интерес писателя и, притом, не отвлеченный, головной, а напротив—живой, исполненный настоящего человеческого тепла.

Я увидел Чехова на одной из выставок картин в Москве. Он был один, но я не подходил к нему, стесняясь напомнить о нашем случайном знакомстве, однако он сам, взглянув и помедлив секунду, узнал меня.

— Да, хорошо написано,—сказал он о портрете какого-то генерала,—но кому это нужно, зачем?

Портрет привлекал общее внимание, и мастерство художника было налицо. Но Чехов не захотел углубить свою

мысль, и она приобрела всю свою значительность лишь в порядке противопоставления.

Не рассеянно, но очень быстро прошел он ряд других полотен и надолго остановился затем перед одной небольшой картиной.

— Вот,—сказал он,—вот что я вам хотел показать. Это хорошо.

Я не помню, чья это была картина, но передо мной встают и теперь—фабричные задворки, вечер, лиховатая мгла и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуповатой, может быть—чуть-чуть стыдливой, нежностью, которую хотел бы не показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова, и молчание его было для меня выразительно полно: сам он писал не потому лишь, что умел отлично писать и хорошо знал человека, но и потому, что он человека любил и жалел, и думал, по-своему, об устройении его неустроенной жизни.

Иван Новиков.